

ПЁТР БОЛЬШАКОВ



САЛТЫЧИХА

ЦИКЛ
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
КЛАССИКИ

Пётр Большаков

САЛТЫЧИХА

«Автор»

2026

Большаков П.

САЛТЫЧИХА / П. Большаков — «Автор», 2026

«Самый страшный триллер — тот, где зло пьёт чай и улыбается». Это русская готика в традициях Гоголя и Достоевского, на языке современного психологического триллера. Автор берёт реальное дело Дарьи Салтыковой и превращает его в леденящее душу исследование природы зла. Здесь нет мистики, но атмосфера усадьбы пугает сильнее любого призрака. Главная сила книги — в антагонисте. Салтычиха показана не как карикатурное чудовище, а как пугающе нормальная женщина, для которой убийство — лишь «поддержание порядка». Ей противостоит мелкий чиновник с часами без стрелок и тетрадкой, в которой он записывает имена тех, кого государство предпочло забыть. Мрачно, тактильно, безжалостно. Обязательно к прочтению любителям Акунина и Яхиной. P.S. «Цикл современной русской классики» — это жанровый навигатор, указывающий на литературные традиции, а не претензию на место рядом с великими предшественниками.

© Большаков П., 2026

© Автор, 2026

Пётр Большаков

САЛТЫЧИХА

«САЛТЫЧИХА»

Пётр Большаков

Жанр: исторический психологический триллер

ЭПИГРАФ

Из записной тетради титулярного советника С. И. Волкова:

«Чашка треснула — её выбрасывают.

Человек треснул — его закапывают.

А государство треснуло — и все пьют из него чай

и удивляются, что он течёт».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ТРЕЩИНА

Глава 1. Часы без стрелок

Каморка пахла сыростью и вчерашним сухарём.

Степан Ильич Волков открыл глаза и понял, что сегодня, как и вчера, и позавчера, его никто не ждёт. Ни жена, ни дети, ни даже хозяйка с требованием денег. В этом была своя свобода — пустая, как циферблат его часов.

Он сел на кровать. Доски скрипнули. За тонкой перегородкой кашлянул сосед, портной Семён, и тут же затих — видно, во сне. Волков посидел с минуту, слушая утро. Где-то за окном кричали петухи, но не деревенские, а городские, московские — надрывные, злые, словно им не нравилось, что их держат в клетках.

Он встал, нашарил на стуле мундир. Зелёное сукно вытерлось на локтях, но пуговицы были начищены — привычка, оставшаяся от отца-дьячка. Отец говорил: «Мундир — это лицо. Если лицо грязное, никто не станет слушать, что ты говоришь». Отец носил рясу, а не мундир, но смысл был тот же.

Волков натянул сапоги. Левый, как всегда, пропускал воду — даже когда не было дождя, просто от утренней росы или от плохого настроения. Он давно перестал это замечать. Как перестают замечать шум за стеной или вкус остывшего чая.

Чай он заварил из прошлогодней заварки. Кипятка налил мало — экономил. Посмотрел на сухарь. Тот был твёрдый, но если покрошить в кружку и подождать, становился съедобным. Волков покрошил. Подождал. Съел.

Потом проверил карманы.

Бумаги — на месте. Кошелёк — пуст, но это уже не удивляло. Ключ от ящика стола в Коллегии — на месте. Часы — на месте.

Он достал их. Корпус латунный, потёртый до жёлтого блеска. На крышке — крест, выгравированный тонко, почти невесомо. Отец заказывал в Троице-Сергиевой лавре, когда Волкову было семь. Тогда часы были новые, стрелки ходили, и отец каждое утро заводил их, приговаривая: «Время — оно как река, Степан. Течёт, и не остановишь».

Отец умер, когда Волкову было двенадцать. Часы лежали на его груди, пока он лежал в гробу, — уже без стрелок. Волков не знал, зачем отец снял их. Может, хотел починить. Может, понял, что время не его. Восемнадцать лет прошло с тех пор. Волков носил часы в левом кармане мундира — там, где раньше носил сердце.

Он открыл крышку.

Пустой циферблат. Белый, с крошечными чёрточками, но без стрелок. Пустота в круге. Волков посмотрел на неё так, как смотрят в окно, за которым нет ничего, кроме тумана.

Четыре месяца. Четыре месяца без жалованья. Он верил, что вот-вот, что сегодня, что в Юстиц-коллегии наконец найдут бумагу, которая запустит механизм, и деньги пойдут. Но бумаги не находили. Механизм стоял. Время для него — и для его кошелька — остановилось.

Он захлопнул часы. Сухой щелчок разорвал тишину.

«Хватит», — сказал он себе. И сам не понял, что имел в виду.

На улице было свежо.

Литейная часть встречала его привычным запахом — конским навозом, мокрой глиной и дымом из печей. Где-то неподалёку стучали молотки: кузнец уже начал работу. Волков свернул к Неглинной, обходя лужу, в которой плавал обрывок газеты. Он прочитал на ходу: «В Санкт-Петербурге...» — дальше вода размывала. Волков подумал, что в Петербурге, наверное, тоже текут сапоги и не платят жалованье. Просто там это делается с большим достоинством.

Юстиц-коллегия стояла на углу, мрачная, как старуха в парике. Волков вошёл, поклонился иконе в прихожей (он всегда кланялся, хотя не знал зачем), поднялся на второй этаж. В коридоре было темно, пахло сургучом и пылью.

Его стол стоял у окна, но окно выходило во двор, и света было ровно столько, чтобы видеть бумаги, но не различать буквы.

Прохор Петрович уже сидел за своим столом — с бубликом в руке. Старый чиновник, в чьих бумагах давно не было смысла, а только форма. Он смотрел на Волкова с привычной смесью сочувствия и насмешки.

— Садись, Стёпа, — сказал он, жуя. — Лошадей кормят, а ты как лошадь работаешь. И не кормят.

— Здравствуйте, Прохор Петрович.

— Здравствуй, здравствуй. Чаю будешь? У меня есть.

— Я уже пил.

— Пил, — усмехнулся Прохор Петрович. — Пил он. Чай без сахара — не чай, а вода с цветом. На, возьми.

Он протянул кусок сахара. Волков взял, положил в карман. На потом.

Прохор Петрович кивнул на гору бумаг на его столе:

— Это тебе. Всё с утра принесли. Ты три дня не был, они накопились.

— Я был в архиве, — сказал Волков.

— Знаю. Там у тебя тоже стол завален. Ты что, Стёпа, решил переписывать всю историю России? Найдут тебя там — с мышами вместе.

Волков не ответил. Он сел, достал перо, откупорил чернильницу. Первая бумага в стопке была обычной: просьба купца о защите от соседа, захватившего землю. Вторая — жалоба вдовы на приказчика, укравшего корову. Третья — донос на беглого крестьянина.

Четвёртая была другой.

Она лежала в середине стопки, как будто кто-то специально засунул её туда, чтобы она потерялась. Серая, грубая бумага, сложенная вчетверо. Пальцы на ней оставили жирные следы — видно, крестьянин писал за обедом. Волков развернул. Буквы были кривые, некоторые перевернутые, с пропущенными слогами.

Он начал читать. И остановился.

Прошение было написано от имени крестьян помещицы Дарьи Николаевны Салтыковой. Там было перечислено: «била смертным боем», «велела раздеть и выпороть», «залила кипят-

ком за то, что не подала чай». А в конце — фраза, которая заставила Волкова перечитать весь лист сначала:

«Она нас не за людей считает, а за мух, и давит так же, без причины».

Он прочитал один раз. Отложил. Взял снова.

— Прохор Петрович, — сказал он, не поднимая головы. — Кто принимал это прошение?

— Какое?

— Вот это.

Прохор Петрович подошёл, посмотрел через плечо. И вдруг его лицо изменилось. Улыбка исчезла. Он посмотрел на Волкова — медленно, с тем особым выражением, какое умеют только старые чиновники: смесь предупреждения и жалости.

— Ты это брось, Стёпа, — сказал он тихо.

— Почему?

— Там до тебя трое брались.

Волков поднял глаза.

— Что значит «брались»?

Прохор Петрович оглянулся на дверь. В коридоре никого не было. Он наклонился к Волкову, и запах бублика смешался с запахом старой бумаги.

— Брались, значит. Один спился. Второй перевёлся в Сибирь — сам попросился. Третий пропал.

— Как пропал?

— А вот так. Бумаги пропали — он пропал. И никто не ищет.

— Прохор Петрович, это же убийства.

— Это Россия, Стёпа. У нас убийства — это быт. Как дырявый сапог или остывший чай. Ты привыкнешь. Все привыкли.

Волков посмотрел на бумагу. Потом на часы в кармане — он нащупал их пальцами, не вынимая. Круглый холодный корпус. Пустота внутри.

— Я не привыкну, — сказал он.

— Ну, — вздохнул Прохор Петрович и откусил бублик. — Тогда тебе сапог сменять пора. В твоём, гляди, и утонуть можно.

Он вернулся к своему столу и уткнулся в бумаги.

Волков ещё раз перечитал прошение. Потом отложил в сторону — на край стола, отдельно от остальных бумаг. Открыл ящик, достал тетрадь. Кожаная, потёртая, с завязками. Он занёс перо. Написал:

«Дарья Николаевна Салтыкова. Помещица. Вдова. Жалобы от крестьян о смертных убийствах. Фраза: «она нас не за людей считает, а за мух».

Помедлил. Дописал:

«Список погибших: пока неизвестен. Начать проверку».

Он закрыл тетрадь. Положил в ящик стола — поверх всех других бумаг. Часы в кармане чуть заметно нагрелись от тепла тела. Волков открыл их, не вынимая, — просто нажал на пружину крышки через сукно.

Ничего не изменилось. Там было пусто.

Всю первую половину дня он разбирал обычные прошения. Соседи делили землю. Вдова требовала корову. Крестьянин жаловался на приказчика, который «посягнул на жену». Волков записывал, классифицировал, посылал бумаги дальше. И всё это время чувствовал на себе взгляд Прохора Петровича — тяжёлый, предупреждающий.

В полдень принесли обед. Щи с капустой, чёрный хлеб. Волков съел всё до последней крошки и выпил воды. Прохор Петрович жевал свой бублик уже второй — видно, припас с утра.

— Стёпа, — сказал он, не глядя. — Ты ту бумагу, про Салтыкову, не таскай с собой. Оставь здесь.

— Почему?

— Потому что если ты её вынесешь, ты станешь четвёртым.

Волков положил ложку.

— А если я её не вынесу?

— Тогда она утонет в стопке других бумаг. Как всегда. Так и будет: те, кто убил, будут жить в усадьбе, а те, кого убили, — в земле. И никто не заметит.

— Прохор Петрович, вы сами верите в то, что говорите?

Старый чиновник поднял глаза. И вдруг — Волков увидел это в первый раз — за его усталой бюрократической маской мелькнуло что-то живое. Что-то, что помнило, как оно, когда тебе двадцать восемь, а в кармане часы без стрелок и желание что-то изменить.

— Я верю в бублики, Стёпа, — сказал он тихо. — Бублики не врут. А всё остальное... — он махнул рукой на кипы бумаг. — Остальное написано на воде.

Он встал, взял свою кружку и вышел в коридор, оставив Волкова одного.

Волков посидел ещё несколько минут. Потом достал из ящика тетрадь. Открыл. Перечитал запись. И взял перо, чтобы добавить ещё одну фамилию — Прохор Петрович назвал её между делом, когда рассказывал о пропавшем чиновнике.

Волков не знал, кто этот человек. Но он записал его. Потому что если кто-то и должен был помнить, то это был он.

Вечером, когда солнце уже скрылось за крышами, Волков сложил бумаги, закрыл ящик на ключ и вышел из Коллегии.

Сапог промок ещё утром. К вечеру нога замёрзла. Он шёл по Литейной, мимо кузницы, мимо лавки с пряниками, мимо церкви, где отец когда-то служил. И вдруг, в двух шагах от своего дома, остановился.

Посмотрел вверх. На небе загорались звёзды. Холодные, мелкие, как крошки сахара на столе.

Он не пошёл домой.

Он повернул к трактиру.

Дверь трактира «Кривой петух» открылась с протяжным скрипом. Пахло сбитнем, кислой капустой и мокрыми тулупами. Внутри былолюдно: извозчики, купцы, мастеровые, двое солдат без оружия. Все говорили одновременно, но Волков слышал только один голос — кособокого Емельяна, сидевшего в углу.

Емельян громко шептал — это был особый вид громкого шёпота, когда вся комната слышала, но делала вид, что не слышит.

— ...у неё в подвале колодец, — говорил Емельян. — Глубокий. Считает, сколько туда ляжет.

— А за что она их? — спросил молодой парень в извозничьей шапке.

— Ни за что. Чай не так подали. Полы не так вымыли. А то и просто — скучно стало.

Кто-то засмеялся. Но смех был короткий, как вспышка.

Волков сел за свободный стол в углу. Хозяин, пузатый мужик с лицом, будто его долго варили в щах, подошёл, кивнул:

— Сбитень?

— Чай, — сказал Волков. — И крендель.

Хозяин ушёл. Волков нашарил в кармане часы, открыл крышку — через сукно, осторожно, чтобы никто не заметил. Пустой циферблат. Белый, как снег за окном. Он закрыл их и положил на стол.

Рядом зашумели:

— Салтычиха, говорят, узнала, что на неё бумагу пишут.

— Кто пишет?

— Да мужики. Только их искать уже поздно.

— Как поздно?

— А так. Она же не дура. Она сначала слуг шлёт. А потом сама приезжает.

— И что?

— А то. У кого бумага, у того язык вынут. Или руки. Или ноги. Смотря по настроению.

Парень в извозничьей шапке поперхнулся сбитнем.

— Господь с вами, — сказал он. — Это же люди.

— Люди-то люди, — ответил Емельян и зевнул, обнажая кривые жёлтые зубы. — Только мёртвые.

Волков сидел неподвижно. Чай принесли горячий, в глиняной кружке. Крендель лежал на блюде, странно белый в жёлтом свете коптилки. Волков смотрел на него и думал о том, что час назад он ел сухарь, который даже размочить было нечем. А здесь — свежий крендель. И он не знал, имеет ли право, его есть.

Он взял крендель. Откусил. Корочка хрустнула, и звук был громким — как выстрел в тишине.

Парень в извозничьей шапке обернулся на звук. Увидел Волкова. Увидел его мундир. И замолчал.

Все замолчали.

Волков почувствовал на себе взгляды. Десять пар глаз. Двадцать. Он медленно откусил ещё кусок. Прожевал. Выпил чай.

Никто не сказал ни слова. Никто не спросил, кто он. Никто не попросил его уйти.

Но он понял: здесь знают, что он из Юстиц-коллегии. И если он что-то скажет, его не услышат. А если он что-то сделает — его не увидят. Он был как те часы: есть — и нет.

Волков допил чай. Оставил деньги на столе — даже хозяин не посмотрел на них. Встал и вышел.

Снаружи было темно. Дождь не шёл, но воздух был влажным, как слеза. Волков остановился, обернулся на трактир. Сквозь щели в ставнях пробивался свет. Слышался гул голосов — они снова начали говорить, когда он вышел.

Он пошёл домой.

Каморка встретила его холодом и темнотой. Свеча зажглась с третьей спички. Волков снял мундир, повесил на стул. Сапог стянул с трудом — левый промок насквозь, кожа размокла, как бумага.

Он сел за стол. Достал тетрадь.

Открыл на чистой странице. Написал:

«Салтыкова Дарья Николаевна. Первая запись. Трактир «Кривой петух». Слухи: колодец в подвале, счёт погибшим. Народ боится говорить. Трое чиновников пытались — все ушли (спился, Сибирь, пропал)».

Он помедлил. Затем вывел под строкой:

«Вопрос: почему они не оставляли её? Что такого в этой женщине, что её все боятся, — даже те, кто должен ловить?»

Он закрыл тетрадь. Посидел минуту. Потом достал часы.

Открыл.

Пустота.

Он смотрел на циферблат, и впервые за восемнадцать лет ему показалось, что он видит там что-то. Какую-то тень. Не стрелку — просто линию. Может, трещину. Он поднёс часы ближе к свече.

Нет. Ничего.

Но он знал: скоро появится.

Он положил часы на стол, рядом с тетрадью. Потушил свечу. Лёг.

За стеной кашлянул портной Семён. Где-то вдалеке лаяла собака. Потом всё затихло.

Волков лежал в темноте и думал о том, что где-то там, за лесами, за полями, стоит белая усадьба. В ней пахнет липами и мёдом. И кто-то пьёт чай из целой чашки.

И где-то под полом — колодец. Глубокий.

Он заснул.

Часы лежали на столе открытыми. Никто не мог бы сказать, сколько времени прошло. Но Волков знал: время есть. Просто его не на чем показывать.

Глава 2. Тетрадь

Утро началось с того, что Волков обнаружил: часы лежат на столе открытыми. Он не помнил, закрывал ли их вчера. Может, забыл. Может, оставил нарочно — чтобы утро встретило его пустотой. Так или иначе, он захлопнул крышку, сунул в карман и вышел, не позавтракав.

В Юстиц-коллегии было тихо. Прохор Петрович ещё не пришёл — или уже ушёл в архив, что случалось редко, но бывало. Волков сел за стол, открыл ящик. Тетрадь лежала на месте. Он достал её, перелистал вчерашние записи.

«Салтыкова Дарья Николаевна. Слухи: колодец, счёт погибшим. Трое чиновников пытались — все ушли».

Он взял перо и дописал внизу, мелким, почти нечитаемым почерком:

«Начать с архива. Поднять дела за последние пять лет».

Архив Юстиц-коллегии помещался в подвале. Каменные своды, сырость, запах мышиного помёта и вековой пыли. Волков спустился по крутой лестнице, держась за перила, которые шатались при каждом прикосновении. Внизу горела одна свеча — её поставили на бочку, и она отбрасывала дрожащий свет на стеллажи.

Архивариус, старик по имени Филимон, сидел в углу и дремал. Он был глуховат и, кажется, не совсем отличал явь от сна. Когда Волков кашлянул, Филимон открыл один глаз, посмотрел на него с подозрением и снова закрыл.

— Филимон Прокофьевич, — сказал Волков. — Мне нужны дела Салтыковой.

Старик не ответил. Волков повторил громче. Филимон открыл оба глаза, посмотрел на него долгим взглядом и сказал:

— Чего?

— Дела. Салтыковой. Дарьи Николаевны. Помещицы.

Филимон пошевелил губами, будто пережёвывая фамилию. Потом медленно встал, опираясь на палку, и пошёл вглубь архива. Волков пошёл за ним.

Они остановились у стеллажа с надписью «С» — выцветшей, почти нечитаемой. Филимон провёл пальцем по корешкам дел, остановился на одном, вытащил. Папка была тонкая, с выцветшей надписью: «Дело № 34. Салтыкова Д.Н. 1753 год».

Волков открыл. Внутри — три листа. Первый — прошение крестьянина о том, что его жену «били до полусмерти». Второй — отказ в расследовании за «недостаточностью улик». Третий — расписка о том, что проситель получил десять рублей и «претензий не имеет».

— Это всё? — спросил Волков.

Филимон кивнул, но как-то неуверенно.

— А дело номер сто семнадцать? — спросил Волков, вспомнив слова Прохора Петровича.

Филимон остановился. Посмотрел на Волкова так, будто тот спросил, где лежит его собственная могила.

— Откуда знаешь про сто семнадцать? — спросил старик.

— Слышал.

— Слышал, — повторил Филимон. — А надо было не слышать. Дела нет.

— Как нет?

— Утеряно.

Волков посмотрел на каменные стены, на стеллажи, на аккуратные папки.

— В каменном архиве? — сказал он. — Утеряно?

Филимон усмехнулся — беззубой, почти беззвучной усмешкой.

— Мыши съели, — сказал он.

— Какие мыши?

— Умные, — ответил Филимон и, повернувшись, пошёл обратно к своему стулу.

Волков остался у стеллажа. Он вытащил ещё несколько папок — за 1752, 1754, 1755 годы. Везде было одно и то же: прошение, отказ, расписка. Иногда — вообще ничего. Только обложка с фамилией, а внутри — пустота.

Он вынул тетрадь и начал записывать.

«1752. Дело № 12: жалоба на убийство крестьянки. Отказ. Расписка».

«1753. Дело № 34: жалоба на избиеение. Отказ. Расписка».

«1754. Дело № 58: жалоба на убийство двоих крестьян. Отказ. Расписка».

«1755. Дело № 89: жалоба на убийство троих. Отказ. Расписка».

«1756. Дело № 117: утеряно».

Волков перечитал запись. Список был коротким — всего пять дел за пять лет. Но он знал: их должно быть больше. Гораздо больше.

Он подошёл к Филимону.

— У вас есть ещё дела? Не по фамилии Салтыковой, а пофамильно — по жертвам?

— Пофамильно? — Филимон задумался. — Нет. Никто не записывает мужиков пофамильно. У них фамилий нет.

— А по именам?

— По именам — есть. Но ты не найдёшь. Их просто не искали.

— А я ищу.

Филимон посмотрел на него долгим взглядом — тем самым, который Прохор Петрович использовал вчера.

— Ты, барин, того, — сказал он тихо. — Ты в подвал пришёл. А подвал — он как колодец. Спустишься — не вылезешь.

— Я вылезу, — сказал Волков.

— Ну-ну, — ответил Филимон и закрыл глаза.

Он просидел в архиве до вечера. Перебрал тридцать семь дел. Нашёл ещё четыре, связанных с Салтыковой, — но все они были закрыты по одной и той же причине: «за неимением свидетелей», «за смертью заявителя», «за утратой интереса».

Он выписал имена. Семнадцать человек. Семнадцать крестьян, которые жаловались на Салтычиху. И все семнадцать — либо умерли, либо отозвали жалобы, либо исчезли.

Он сидел на корточках у стеллажа, при свете свечи, и смотрел на список в тетради. Семнадцать имён. За ними стояли женщины, мужчины, дети, старики.

Он знал: они были. Он мог доказать, что они были. Но в бумагах они не существовали.

Волков закрыл тетрадь. Сунул в карман. Поднялся. Филимон уже ушёл — видно, закончил работу и оставил его одного. Волков задул свечу и пошёл вверх, в темноте, наощупь, держась за перила.

Когда он вышел из архива, его встретил Прохор Петрович.

— Ты где пропадал? — спросил он. — Я тебя искал.

— В архиве.

— В архиве, — повторил Прохор Петрович. — Четыре часа? Там дышать нечем.

— Я привык.

Прохор Петрович посмотрел на него — и вдруг заметил тетрадь в руках Волкова.

— Это что?

— Тетрадь.

— Я вижу, что тетрадь. Что в ней?

— Список.

— Список чего?

Волков помедлил.

— Список людей, которых нет.

Прохор Петрович отступил на шаг. На его лице мелькнуло что-то — смесь страха и уважения.

— Стёпа, — сказал он тихо. — Ты действительно хочешь этим заниматься?

— А вы не хотите?

— Я — старый. Мне бублик — и то радость. А тебе — двадцать восемь. Тебе жить ещё. Или не жить. Смотря как повернёт.

— Прохор Петрович, — сказал Волков. — Вы знаете про дело номер сто семнадцать?

Старый чиновник побледнел. Он оглянулся на дверь, убедился, что никто не идёт, и схватил Волкова за локоть.

— Ты его нашёл?

— Нет. Филимон сказал, что его съели мыши.

Прохор Петрович выдохнул.

— Слава Богу.

— Почему слава Богу?

— Потому что если ты его найдёшь — ты станешь четвёртым. А я не хочу хоронить четвёртого.

— Прохор Петрович, — сказал Волков. — Кто был третьим?

Прохор Петрович долго молчал. Потом отпустил его локоть и сказал, глядя в стену:

— Его звали Василий Жуков. Молодой, как ты. Тоже носил тетрадь. Тоже записывал имена. Однажды ушёл в Троицкое — и не вернулся.

— Его убили?

— Не знаю. Бумаги пропали. Он пропал. И никто не ищет.

— А я ищу.

Прохор Петрович посмотрел на него долгим взглядом. Потом сунул руку в карман, достал бублик — уже не свежий, зачерствевший — и протянул Волкову.

— На, — сказал он. — Ешь. Ты сегодня не ел.

Волков взял. Бублик был твёрдый, но он откусил кусок и прожевал.

— Спасибо, — сказал он.

— Не за что, — ответил Прохор Петрович. — Просто... если завтра тебя не будет, я буду знать, что ты хотя бы поел.

Он развернулся и пошёл к выходу. Волков остался стоять в коридоре, с бубликом в одной руке и тетрадь в другой.

Часы в кармане холодили грудь.

Вечером Волков сидел у себя в каморке, переписывая список набело. Свеча горела тускло, и буквы плыли перед глазами. Он остановился, посмотрел на часы.

Они лежали на столе, открытые. Пустой циферблат. Белый, как лист бумаги, на котором ещё не написали ни слова.

Он вдруг понял: тетрадь — это те же часы. Только там записывают имена, а здесь — время. И то и другое — пустота, пока кто-то не заполнит её своим присутствием.

Он взял перо и написал в тетради:

«Василий Жуков. Третий. Ушёл в Троицкое. Не вернулся. Бумаги пропали».

Потом перечитал весь список. Начало его было коротким:

«Салтыкова Дарья Николаевна. Жалобы: убийства, пытки, избиения».

А сейчас — уже двадцать одно имя.

Он закрыл тетрадь и лёг.

За стеной кашлянул портной Семён. Потом затих.

Волков лежал и смотрел в потолок. Он думал о том, что где-то там, в Троицком, есть колодец. И в этом колодце — люди, у которых нет имён. Нет бумаг. Нет могил.

Он заснул.

Часы на столе остались открытыми.

Глава 3. Усадьба. Утро

Усадьба Троицкое просыпалась рано. Ещё до петухов, ещё до того, как туман над полями начинал сереть и расползаться. Просыпалась не от света — света ещё не было, — а от звука: где-то в доме хлопнула дверь, скрипнула половица, и голос, тихий, женский, сказал: «Господи, помилуй».

Дарья Николаевна Салтыкова спала в господской спальне, выходившей окнами в липовый сад. Ей снилось что-то неважное — какая-то возня, чужие руки, холодная вода, — но когда служанка бесшумно вошла, чтобы зажечь свечи, она уже была на границе сна и яви, почти проснувшись.

— Зажигай, — сказала она, не открывая глаз.

Служанка зажгла. Свечи дрогнули, и по стенам поплыли тени. Дарья Николаевна открыла глаза, села на кровати и посмотрела в окно. Туман висел над садом, как простыня. Липы едва угадывались — мокрые, тёмные, неподвижные.

Она встала. Холодный пол скользнул под босые ступни, и она почувствовала, как тело просыпается — с неприятным холодком, который она привыкла не замечать. Она подошла к зеркалу, стоящему в простенке между окнами, и посмотрела на себя.

Тридцать лет. Или тридцать два? Она уже не помнила точно. Смерть мужа сбила счёт. Два сына, имение, хозяйство, слуги — всё это требовало внимания, и время текло сквозь пальцы, не оставляя следов. Дарья Николаевна была не красива и не уродлива. У неё были глаза, которые смотрели спокойно, почти приветливо, и губы, которые умели улыбаться, когда требовалось. Но в зеркале она видела лицо, которое ей самой не нравилось: слишком обыкновенное, слишком женское, слишком уязвимое.

Она повернулась к служанке, стоявшей в дверях.

— Принеси чаю. И позови Агафью.

— Она уже здесь, барыня, — сказала служанка и исчезла.

Через минуту вошла Агафья — тонкая, бледная девушка с руками, которые всегда дрожали, даже когда она ничего не делала. Волосы её были гладко зачёсаны, платье чистое, белый передник. Она держала поднос с чайником и чашками.

— Доброе утро, барыня, — сказала она тихо.

— Доброе, — ответила Салтычиха, не оборачиваясь. Она всё ещё смотрела в зеркало, поправляя выбившуюся прядь. — Ставь на стол.

Агафья поставила поднос. Чашки звякнули друг о друга — мелко, почти беззвучно, но Салтычиха услышала.

— Осторожнее, — сказала она. — Не разбей.

— Простите, барыня.

Агафья начал разливать чай. Руки её дрожали. Вчера она видела, как Салтычиха ударила кухарку за то, что та пересолила суп. Ударила спокойно, почти рассеянно, и кухарка упала, ударилась головой о печь, и долго лежала, не вставая. Агафья не знала, жива ли кухарка. Она боялась спросить.

Салтычиха подошла к столу, села. Взяла чашку с подноса, поднесла к губам. Но прежде чем отпить, замерла.

Чашка была старая, фарфоровая, с голубым узором по краю. И на ней — едва заметная трещина. Тонкая линия, почти невидимая. Но Салтычиха замечала всё. Всегда. Это было её главное оружие — умение видеть трещины там, где другие видели целое.

Она поставила чашку обратно на блюдце. Звук был резкий, хлесткий, как удар.

— Агафья, — сказала она медленно. — Это что?

— Что, барыня?

— Ты слепая? — Салтычиха взяла чашку и повертела в руках, показывая трещину. — Трещина. Ты подала мне чай в треснутой чашке.

Агафья побледнела. Руки её перестали дрожать — они окаменели.

— Я... я не заметила, барыня. Простите.

— Не заметила.

Салтычиха смотрела на неё. Спокойно, пристально, как смотрят на муху, которую вот-вот прихлопнут. Она поставила треснутую чашку на поднос, взяла другую — целую, — налила себе чаю и отпила.

— Разденься, — сказала она.

Агафья не двинулась с места. Она стояла, как вкопанная, глядя на барыню широко открытыми глазами.

— Я сказала — разденься.

— Барыня... — голос Агафьи сорвался.

— Агафья, — Салтычиха вздохнула, как вздыхают над рассеянным ребёнком. — Я не люблю повторять. Ты знаешь.

Агафья начала раздеваться. Пальцы её не слушались, они дрожали, путались в тесёмках, и платье падало на пол медленно, будто нехотя. Она осталась в одной рубаше, босая, на холодном полу, и ждала.

Салтычиха допила чай. Поставила чашку. Посмотрела на треснутую чашку — та стояла на подносе, зияющая тонкой чёрной линией.

— Ты видела, что чашка треснутая, — сказала она, не глядя на Агафью. — Но подала. Почему?

— Я не заметила, — прошептала Агафья.

— Не заметила. — Салтычиха улыбнулась. — Ты три года у меня служишь. И до сих пор не научилась замечать. Как же ты будешь жить, Агафья? Как ты будешь жить, если даже чашку не можешь проверить?

Агафья молчала. Слёзы текли по её щекам, но она не вытирала их — боялась двинуться.

— Ну что ж, — сказала Салтычиха. — Раз не замечаешь — значит, не нужны тебе глаза. Слепой горничной я тоже пользоваться не буду. Но ты же не хочешь быть слепой?

— Нет, барыня.

— Значит, будешь учиться.

Она встала. Подошла к Агафье. Медленно, почти ласково взяла её за руку.

— Иди в подвал, — сказала она. — И жди.

Агафья пошла. Босая, в одной рубаше, она вышла из спальни и двинулась по коридору. За дверью было слышно, как она идёт — медленно, шаг за шагом. Потом хлопнула дверь подвала, и шагов не стало.

Салтычиха вернулась к столу. Снова налила чаю. Отпила. Потом сказала, не повышая голоса, в пустоту:

— Принеси ещё чаю. Этот остыл.

Из-за двери появилась другая горничная — молодая, испуганная, с подносом. Она взяла остывший чайник и исчезла, не поднимая глаз.

Салтычиха осталась одна.

Она смотрела в окно. Липы цвели. Пахло мёдом. Где-то в саду щебетали птицы. День обещал быть тёплым, ясным — почти летним. Она улыбнулась.

И, сама не зная зачем, взяла с подноса треснутую чашку.

Подержала в руках. Провела пальцем по трещине.

«Надо вещи проверять, — подумала она. — Каждая вещь — как человек. Если не смотреть, то и не увидишь, где трещина. А трещина — это начало».

Она поставила чашку обратно. Встала. Подошла к окну и открыла его. В комнату ворвался запах лип, влажной земли, утренней свежести.

Она глубоко вдохнула.

За домом, в людской, кто-то заплакал. Салтычиха прислушалась. Потом закрыла окно.

Ей предстоял долгий день: хозяйство, счета, письма сыновьям. И ещё — в подвале ждала Агафья. Салтычиха решила, что не пойдёт к ней сразу. Пусть посидит. Подумает. Может, научится замечать вещи, которые нельзя не замечать.

Она вышла из спальни и направилась в гостиную.

В гостиной её ждали: дворецкий с докладом о припасах, приживалка с вышиванием и стопка бумаг от управляющего. Салтычиха села в кресло у окна — там, где было больше света, — и взяла первую бумагу.

— Сахар, — прочитала она. — Закупили сахар. Хорошо. А мука?

— Мука в амбаре, барыня.

— В амбаре? — она подняла бровь. — Сколько?

— Да около двадцати мешков, барыня.

— Проверь. В прошлом году мыши испортили. Если мыши — убей крыс.

Дворецкий кивнул и вышел.

Приживалка, старуха с лицом, похожим на печёное яблоко, подняла глаза от вышивания.

— Дарья Николаевна, — сказала она робко. — А как там... Агафья?

— Агафья? — Салтычиха нахмурилась, будто вспоминая. — Агафья учится. Она подала мне треснутую чашку. Теперь она учится замечать.

— А долго она будет... учиться?

— Сколько потребуется. Ты, Матрёна, не беспокойся. Иди, вышей лучше. А то у тебя крестики кривые.

Приживалка опустила глаза и снова уткнулась в вышивание. Больше она не спрашивала.

Салтычиха перечитала бумаги. Подписала одну, отложила другую. Потом подошла к шкафу с фарфором и открыла дверцу. Рядами стояли чашки — белые, с голубыми узорами, с розовыми цветами, с золотым ободком. Она провела пальцем по краю каждой.

Все были целы.

«Интересно, — подумала она. — Все целы. Ни одной трещины. А ведь я и не проверяла их раньше. Надо проверять чаще».

Закрыла шкаф.

За окном снова запели птицы. День был ясный. Хороший день.

За домом, в подвале, было темно и холодно. Агафья сидела на земляном полу, прижав колени к груди, и тихо плакала.

Она знала: барыня может не прийти. Может забыть. Может прийти завтра. Или послезавтра. Или никогда.

Она слышала, как сверху хлопают двери, как звенят голоса, как где-то смеются — мягко, по-домашнему. Там был день. А здесь, в подвале, была вечность.

На стене висел фонарь. Тусклый, почти не горящий. Агафья смотрела на него и ждала.

Она не знала, чего она ждёт — смерти, прощения или просто того, что барыня зайдёт, посмотрит на неё и скажет: «Ну что, научилась замечать?»

Но барыня не заходила.

Час. Два. Три.

Где-то наверху пробили часы. Потом снова. Потом хлопнула дверь — и голос Салтычихи сказал:

— Принеси ещё чаю. Этот остыл.

И снова тишина.

Глава 4. Дела закрытые

Архив Юстиц-коллегии пах смертью. Не трупной — той, от которой воротит нос, — а другой: сухой, бумажной, вековой. Смертью людей, которых записали, забыли и похоронили в стопках пожелтевших листов.

Волков сидел на корточках у стеллажа уже третий час. Свеча догорала, и он подслеповато шурился, разбирая буквы в очередном деле. Прохор Петрович предупреждал: «Не ходи туда, Стёпа. Там воздух спёртый, а правды — ещё меньше». Но Волков не послушал.

Он перебирал папки за 1751-й год. В основном — имущественные споры, кражи, жалобы на приказчиков. Но среди них, как иголка в стоге, попадались странные дела: «О смертоубийстве», «О пропаже крепостного», «О тяжких телесных повреждениях». Волков открывал каждое, читал, закрывал и записывал в тетрадь.

Имена.

Он записывал имена.

Их было мало — пока что. Но он знал: это только начало.

Филимон сидел в своём углу и дремал. Старый архивариус, казалось, не замечал присутствия Волкова — или делал вид, что не замечает. Но когда Волков подошёл к нему с очередным вопросом, Филимон открыл один глаз и сказал:

— Ты уже третий день тут. Скоро начнёшь мышам имена давать.

— Филимон Прокофьевич, — сказал Волков. — У вас есть дела за 1750-й год? По Салтыковой?

Филимон закрыл глаз.

— Нету.

— Как нету? Она в 1750-м уже убивала.

— Откуда знаешь?

— Я читал показания свидетелей. В деле номер тридцать четыре есть ссылка на «случай 1750-го года». Но самого дела нет.

Филимон помолчал. Потом открыл оба глаза и посмотрел на Волкова долгим взглядом.

— Ты, барин, — сказал он, — как собака, которая кость грызёт. Не потому, что голодная, а потому, что так устроена.

— Я ищу правду.

— Правды нет. Есть бумаги. А бумаги — они как вода. Что на них напишешь — то и есть. А что не напишешь — того не было.

— Значит, людей, которых она убила, не было?

Филимон улыбнулся беззубой улыбкой.

— Для нас — нет. Для неё — были. Но она — дворянка. А мы — люди. Мы считаем то, что написано. А что не написано — того не считаем.

Он достал из кармана кусок хлеба, отломил половину и протянул Волкову.

— На, поешь. Ты бледный.

— Я не хочу.

— Не хочешь — не надо. А мне — надо. — Филимон сунул хлеб в рот и принялся жевать. Волков смотрел на него и понимал: старик знает больше, чем говорит. Но спрашивать бесполезно. Филимон скажет только то, что можно говорить. Остальное останется в его памяти — и умрёт вместе с ним.

Волков вернулся к стеллажу.

Он нашёл дело номер сорок семь.

Оно лежало в самом низу стопки, припорошённое пылью, с оборванной обложкой. Волков вытащил его, открыл — и замер.

Внутри было семь листов.

Первый — прошение крестьянина Алексея Терентьева. Текст был корявым, с ошибками, но смысл был ясен: «Убила мою жену, Марию, 23 лет от роду, была смертным боем за то, что не так подала хлеб». Второй лист — показания свидетелей. Третий — отказ в расследовании. Четвёртый — расписка о получении десяти рублей. Пятый — повторное прошение. Шестой — снова отказ. Седьмой — чистый, нетронутый лист, на котором не было ничего.

Волков перечитал первое прошение трижды. Потом достал тетрадь и записал:

«Терентьев Алексей, крестьянин. Жена Мария, 23 года. Убита Салтыковой в 1750-м. Причина: не так подала хлеб. Прощение — отказ — расписка. Повторное — отказ. Дело закрыто».

Он перевернул страницу. И увидел, что на обратной стороне седьмого листа кто-то написал карандашом, мелко, почти не читаемо:

«Савелий Мартынов. Ермолай Ильин. Искать их».

Волков замер.

Это был не его почерк. Не Филимона. Не Прохора Петровича. Кто-то, кто работал с этим делом до него, оставил зацепку. Тот, кто тоже пытался найти правду.

Волков перечитал надпись. «Савелий Мартынов. Ермолай Ильин. Искать их».

Он вырвал чистый лист из тетради и переписал имена. Потом спрятал лист в карман, а дело номер сорок семь закрыл и поставил обратно на стеллаж — туда, где лежало, чтобы никто не заметил, что к нему прикасались.

Он вышел из архива с тетрадью под мышкой и двумя именами в голове.

Прохор Петрович ждал его наверху.

— Ну что, — сказал он, — накопал чего?

— Нашёл дело сорок семь.

Прохор Петрович изменился в лице.

— И что там?

— Жена Алексея Терентьева. Убита в пятьдесят-м. Отказ. Расписка. И запись карандашом — «Савелий Мартынов. Ермолай Ильин. Искать их».

Прохор Петрович сел на стул — тяжело, как будто ноги подкосились.

— Мартынов и Ильин, — повторил он. — Значит, ты до них добрался.

— Вы знаете их?

— Не знаю. Но слышал. Они — из деревни Салтычихи. Их жён убили. Они два года пытались добиться правды. Ходили по всем инстанциям. Писали жалобы. Им давали деньги, чтобы они замолчали. Они не брали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.